

Чуть ли не тридцать лет назад киноактриса Нонна Мордюкова стала оттачивать перо, пробуя выразить на бумаге волнующие ее переживания, мысли, воспоминания. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей ее новую документальную новеллу.

КОГДА НАМ БЫЛО лет по пять-шесть, любимыми рисовали. Давили бузину, кури перья приматывали к щечке — вот и кисточка. Бумаги тоже не было. Вот в селпо, в чем заворачивали какой ни на есть товар, брали рыжую бумагу. Валина бабка, у которой мы частенько рисовали, нарежет этой мрачной бумаги, утюгом придавит, когда печь затопит. Ох, печь, печь! Печь — это зев добра. Она кормилица, сосок от земли. Счастье это, когда горит печь.

Сперва она горит неаппетитно — трещит, поддымливает, набирает слабое благо. Вот стелется тепло, веет запахом кипящей еды в чугунах. Хозяйка то кочергу возьмет в руки, то ухват. Гордится. Лицо вспотело. Тепло, пища, хлеб. Хлеб! Какой бы ни был — белый-пребелый или темный, как земля. Ничего, что он с примесью. Корень-то остается «месить». Пусть там и макуха, и лебеда, и крапива. Это же хлеб!

Печь надо топить обязательно, пусть в ней булькает всего лишь мелкая рыба с травой. Процесс святой. Это действо для страждущих от голода и холода. Остуженная, давно не топлённая печь — это скорбь, обида, безысходность.

...Так вот, сидим мы, это, рисуем, а уши и нос слышат жизнь бабкиной печки. Слюньки текут, а просить нельзя. Просить не положено, как и жаловаться. Подкрался голод. Идет 1933 год.

— А-а-а! — взвывает какой-нибудь подросток из другого села. Рядом девчушка маленькая с ведром для подати.

— Иди-иди, ты уже был...

Молчание. Мальчик ломающимся баском скрипит беспомощно: «Не был...» Утрит пальцем под носом и плетется дальше. Девочка за ним.

Никто не плачет... Выносят мертвого из хаты — и напрямик на кладбище. Бывало и без гроба. Оцепенение, будто соглашение какое-то с происходящим. Умер — так умер. Завтра опять умрут.

Ну вот... Бабка топит. Что-то там есть в чугунке. «Есть-то есть, да не про вашу честь».

Возле ухватов стоит деревянная лопата. Бабка берет ее в руки и, вглядываясь, начинает толкать девчонку, сидящую на печи. Ее почти не видно, одни глаза, как у кошки, круглыми стекляшками светятся в темноте. Бабке трудно достать — жертва перемещается молча, если даже лопата толкнет ее как следует.

— Холера! О, холера! Молчишь? Вот тебе! Вот тебе!

Кряхтит бабка и мнет лопатой послушно молчащее тело провинившейся. А провинилась она тем, что подкинули ее из соседнего села, потому как сын бабки и мать девчонки утонули с баркасом.

Не любила она погибшую сноху за то, что с прилюдком за ее сына замуж пошла. А Бог взял да и кинул в подол к бабке ненавистную нареченную внучку.

«Кругом люди мрут, а этой хоть бы что...» — ворчала бабка.

Девочка, бывало, скользнет с печи, схватит что-нибудь, проглотит целиком и обратно на печь — ждаться лопаты.

— Ах ты, зараза! Уже успела... — зверела бабка.

Как солнце садилось, Валина мама приходила за ней и, уходя, обязательно бросала что-нибудь на печку девочке. Картошину или кусочек кукурузной лепешки. Картошина ударится о тельце девочки, отлетит в глубь печи, но она не шевелится, сверкая глазами.

— Бери, бери, Доля горемычная...

Стоило нам направиться к двери, как девочка рывком хватала угощение — и в рот.

Один раз захожу к бабке, а девочка сидит во дворе под яблоней, обняв колени. Грязная-прегрязная. Лицо будто смазано мокрой пылью. А глаза недоступны для пыли и грязи. Синенькие да чистенькие, как ключевая водица.

— Валька тут? — спрашиваю.

Отвернулась вместо ответа.

Смотрю: привязана к дереву за ногу. Помалкивает.

Помню, бабка стегнула ее веревкой как следует, а девчонка, дожидывая что-то, удачно озираясь по сторонам: дескать, что такое боль по сравнению с мякотью чурека.

Так и жило себе дите, сцепив зубы, не протонав ни разу.

Пошла я в школу.

Приостановилось, бывало, у забора, смотрю — живет девочка, скребет камушком котелок или чугуна, а то двор метет.

Никакой ей школы.

«Как ее зовут?» — «Как хлеб жуют...»

«Чем она гордится? Крутится, крутится и все молчком. Людей не хочет...»

Не хочет — и не надо.

Отключаясь от нее.

Глядь — гроб несут, а в нем бабка ее лежит, брови сдвинула.

Какое-то время девочки не видать. Вечерком подошли к их хате — темно, тихо.

Проходит время — подплывает откуда-то телега, начинают выгружать всякий скарб. А вот и она... Присогнутая в поясице, угодливо помогает новым хозяевам.

Потекли дни.

Смотрю: то перину палкой выбивает, то воду тянет из колодца. Оставили, значит, у себя.

Пускай выбивает.

Вот уж она подросла. Высокая стала, как щепка худая. И все согнувшись, все согнувшись, будто крадет.

Такая она. Молчаливая. Ничья.

Слышим — исчезла.

Подзабыли. Проходит два года — входит в село. Кошелка, платье в цветочек. Мяско вродеросло. Отмывая, симпатичная, а все озирается, крадется опять, как и прежде.

«Вернулась...» — «А как же, скотина и та к месту тянется...»

Устроилась при конторе жить и уборщицей работать. 14 лет исполнилось мне, и ей тоже вро-

Нонна МОРДЮКОВА

Не плачь, казачка



де того. Стало тянуть к ней, захотелось приблизиться, заставить раскрыться.

Куда там! Не дается.

И вот! Немею, задыхаюсь, хочу позвать на помощь!

Вижу, как из ее чуланчика вышел потный кабан — председатель из соседнего колхоза. Провел рукой по ширинке и надел картуз.

Я уже давным-давно знала, что детей не в капусте находят, а также давным-давно была подучена мамой к мысли о том, что замуж надо выходить только честной девушкой.

А тут? Кто за это ответит?

Стою, с места не могу сдвинуться. Вижу, и она высказывает из двери и, зыркнув голубыми шарами, скрывается в кустах.

Не хватило смелости у меня рассказать кому-нибудь. Стидно было.

Поплелась я на лиман. Неизменная картина: небо да море. Зябко. Плохо пахнет сырой рыбой. Все о ней, о девочке, думаю. Вот поблескивает верхоплавка. Уж как бы ни был голоден человек, а верхоплавку не возьмет, хоть и легко ее поймать — просто рукой. Так я себе тогда подумала.

Помню, разверзлось однажды небо над селом — это завопил да завизжал благим матом женский голос:

— У-у-бью-ю! Га-ди-на!

Побежали бабоньки к конторе. Там стала лупасить девушку жена тракториста, а за ней и другие подключились.

— Та-ак ее. Так...

Крику, оскорблений!

Прорвалось наружу подозрение баб. Баба бьет, как Бог на душу положит, а тело Доли не реагирует, как неживое. Глаза терпеливо смотрят в одну точку и ждут конца истязания.

«Блаженная!» «Ведьма!» «Курва!»

Как только не крестили, ни слова не выдавали. Вдруг спрыгивает с велосипеда парень в майке и как даст ногой под зад тетке, что бьет и терзает девушку. Та опешила. Все замолчали, а парень вошел в раж. Посыпались новые удары. Так и выдворил он вояку за калитку. Сел на велосипед и поехал.

— Батюшки-светы! — хотели было развить новую тему бабы, но парень зарулил обратно в группу людей и заорал:

— Кости поломаю, если кто пикнет! Мужиков своих бить надо!

И он яростно уехал прочь.

Стали страсти остывать, узел слабеть, рассыпались по хатам.

— А, правда, как ее звать? — спросила я у своей подружки.

— Не знаю, — ответила та и стала пить кисель из стакана.

Прошло какое-то время, подружка моя уже в Ейске училась на медсестру.

— Ну как там у вас? Как та?

Правда. — 1991. — 1992. — с. 3

— Кто?

— Та, что без имени растет.

— Как это? Доля она Фамилькина.

— Доля?

— В сельсовете записано, а так — Доля...

«Доля ты горемычная», — вспомнила я слова Валиной мамы.

Девочка, наверное, и думала, что это ее имя — Доля, а Фамилькина — это уже сама придумала.

Поставили, помню, Долю на рядки. Бегом, бегом. Серпом влево — вправо, влево — вправо.

Сколько помню свою жизнь на селе — все люди делали бегом, а вернее сказать — наперегонки!

Доля озадачивала колхозниц своей скоростью. Всегда далеко впереди. Будто бегством от людей отделялась, скорой жатвой. Вроде бы не под силу человеку так махать. А жала чисто. «Зверушка», «Дикая», «Виноватая». Она не реагировала. Делянка кончится, все плюхаются на землю молочка выпить, лицо поглядеть в зеркальце, а ее уже и дух простыл. Выпила молочка — и вперед!

Залетела я в очередной раз — это когда уже актрисой стала — в родные места и — в поле: где же еще найдешь всех в сборе?

Смотрю: кто-то с флотским воротничком «чешет» впереди всех.

Она. Доля.

Оказываешься, заявилась однажды дядька какие-то снять ее на фото как ударницу. Куда там! Отказалась и скрылась на весь день. А как вышла на работу, на плечах ее белой кофточкой оказался линиястый морской воротничок, сколотый брошечкой с изображением птички, в клювике державшей крошечный конверт.

Дрогнуло все же человеческое сердечко от признания и похвалы. «Принарядилась».

Выпрямилась Доля, обматерела. Привлекательная бабенка из нее получилась. Взял ее в жены вдовец. Поставили хату «на замес», то есть всем селом. Расплата — банкет. С другого села «жених» прибыл. Подружка рассказывала: любовался ею и все, как милостыни, ждал от своей жены хоть немного любви.

Жили себе и жили.

И вот возвращается из армии односельчанин и заводит в поле бочку с водой.

Доля кружечку нацепила, не спеша выпила. Улыбнулась синими глазками, повесила кружечку на крючок и пошла к рядкам, вертя бедра.

Парень застыл, чуть сознание не потерял, а у него свадьба полным ходом готовится. На другой день парень занес кружечку воды прямо к ее рядкам. Солнце садится, работе конец. Она — со значением — долго пила... И глазом не моргнула, поглощая чистый самогон.

Ушли они куда глаза глядят, однако, смудровали, что домой-то надо...

Слух уже сделал свое дело — отравил ядовитым паром все село.

Муж Доли с тревогой сидел за пустым столом, когда жена явилась. Опять утром на работу, опять бочонок с водой, да только ездовой уже другой — мальчик лет пятнадцати. Жених, стало быть, гуляет на свадьбе.

И вот орут песни, дело к ночи. Доля сидит дома за столом, пишет письмо и, заклеив конверт, направляется к двери.

— Куда ты?

— Опушу в ящик письмо на Ейск.

И вправду, опустила письмо в почтовый ящик. Да и поплыла на шквал звуков.

Влезла в дыру заборчика и оказалась в палисаднике, неподалеку от молодецкой спины жениха. Только их с той минуты и видели. Заваялись куда-то на четыре дня.

Ой, что было — что было!

Позор. Погрузили в телегу невесту и увезли назад.

Толки сгущались сильнее и сильнее. Наконец, возлюбленные явились твердой походкой. Видать, что-то порешили.

Парень вошел в родительский дом и тут же, напав, был убит отцом, который схватил швейную ручную машинку, поднял на вытянутые руки и угодил на грудь сыну. «Подруга» в это время открыла калитку и вошла в опустевший дом, покинутый мужем.

Прошли годы. Подзабыта стала эта история, и уже из Москвы попадаю в Краснодар на какой-то праздник.

Выпросила у секретаря крайкома «Волгу» и — домой, в поля.

И вот сидят под копами бабы, отдыхают; кто молоко пьет из водочной бутылки, кто лицо подмазывает белилами, защищая лицо от солнца.

Сижу и я с ними. Чуть пожухли мои подружки. А как же! Ветер да солнцепек, да раннее пробуждение, да тяжести разные таскать, да и годы бегом бегут...

Смотрю, две бабы, стоя на коленях, разглядывают спину сидящей на земле женщины. Голова опущена книзу. На спине кофточка кровью взялась...

— Не трогайте... — советует одна — сейчас приедут.

— Чего там ехать! Подорожником залепим — и все.

— А ты, кажись, зарезала меня, — визжит пострадавшая, давясь от смеха.

— Доль, а Доль, прости ты меня... Серпом вот нелепо как-то получилось.

— Вот зарезала, зарезала меня, — попискивает Доля.

«Доля! Милая Доля. Ты в гурте со всеми. Живая, здоровая. А ранка — это чепуха...»

— Здравствуй, Доля!

— Нонк, здравствуй и прощай, — скулит Доля, — сейчас кончусь.

Затурчал мотоцикл. Перестали «оказывать помощь».

— О! Едут!

Разошелся по степи запах аптеки. Притормозил мотоцикл, из коляски спрыгнула медсестричка в белом халате. Она встала на колени и приступила к обработке раны.

— Ой! — повела плечом Доля. — Щипает...

— Ну, потерпи, миленькая, ну, хорошая моя, потерпи. Сейчас, сейчас...

Доля замолчала.

Тут медсестричка озадачилась: почему «клиентка» молчит, не поднимая головы.

Все ждут и видят, как вздрагивает спина Доли, как глухо стонет она, начиная горько и глубоко рыдать.

Девушка попыталась заглянуть плачущей в лицо, но та, обняв колени, завывала неудержимо, отдавая всю силу душевной боли в землю.

Косынка свалилась к ногам. Окровавленная кофточка подрагивала от рыданий.

Медсестричка налила рыжененькой микстуры и подставила к лицу Доли. Та поняла, что отвлекает от дела людей и, отстранив лекарство, встряхнула косынку, наладила покрывать голову.

— Вот, дадите ей выпить, — попросила девушку. — Все, все хорошо. Ничего нет страшного, миленькая!

Доля кончила плакать, лицо окаменело, и она, завязывая концы косынки, ответила, как выдохнула:

— Все хорошо, ничего нема страшного...

Затархтел мотоцикл. Бабы постояли немного, потом одна из них показала кулак. Дескать, не трогайте пока ее. Это Тайка Угрюмова. Она, по неизвестным причинам, была единственно допущенной к сердцу Доли.

Фотографировались мы в станице и попала эта фотография в разные публикации о моем творчестве. Я каждый раз смотрю на эту фотографию и вспоминаю причину, по которой Доли не оказалось на этом снимке, и вспоминаю тетку, которая подседала к ней и буркнула:

— Не плачь, казачка... Кому нам плакать... Вставай. Бери серп и — айда на рядки.